

Наталья МОНАСТЫРЁВА

ТОПОЛЬ В СИНИЦАХ

I

Дед мой не был на войне, но тёмно-зелёный китель, который он каждый год в конце лета с трудом вытягивал, как рыбу из полыньи старого шкафа, буквально светился от медалей и был похож на хариуса – весь блестящий, переливистый и благородный. И каждая медаль, нацеленная на луч света, по всем законам физики заманивала в комнату неуловимую семейку солнечных зайчиков. До визга весело было бегать по прихожей, напитанной солнцем и запахом чужих залежавшихся вещей, и ловить этих зайчиков. Хлоп по белой стене, а там – пусто, и рука в извёстке.

Сколько у деда было медалей? Много. Впору бы сосчитать и запомнить, но зачем? Куда интересней стянуть с косички капроновую ленточку, накрепко перевязать ею «раненый» глаз и поиграть в Кутузова. Я без разрешения, как в плащпалатку, забиралась в длинный шерстяной пиджак и, бренча наградами, сутулясь, медленно плелась к зеркалу, чтобы рассмотреть их поближе, прямо в упор, под своим невидимым, придуманным микроскопом.

Когда дед умер, пиджак перекочевал по наследству моему дядьке, потому что в его семье рождались мальчики – хранители семейной истории, а у нас – одни сопливые девчонки. С тех пор тёмно-зелёный китель я не видела и сейчас с трудом вспоминаю золотом вышитые молот с киркой на воротнике и медали «Шахтёрская слава» трёх степеней, с красной, золотой и медной звездой на строгом, математически выверенном, пятиугольнике.

Дед был шахтёром, а я – его любимой внучкой.

Мы жили на одной улице, и неудивительно, что всё лето я до потёмок пропадала в доме отцовских родителей. Поверьте, маленькому исследователю здесь было чем заняться. Сперва я забегала в летнюю кухню, чтобы потискать пушистых котят, долить их блюдце доверху нацеленным после утренней дойки молоком. Потом рассыпала пшено по струганным корытам в ку-

рятнике и наполняла поилки непослушных петухов отстоявшейся водой, а главное, по часам караулила насекомых под навесом в сарае, чтобы забрать тёпленькое белое яичко, отнести его бабуле, которая уже заводит опару для самых вкусных калачиков на свете. Разделавшись с нетрудными хозяйскими хлопотами, в тайне ото всех, я лезла на чердак и терялась там в старом барахле до самого вечера. Притаиться и посидеть в полутёмном помещении часок-другой, копошась в старых, погребённых под тяжестью пыли пожелтевших газетах, журналах и ретропластинках, – о, это было что-то! Не знаю, откуда у меня появилась такая тяга – ворошить «прошлое», но читать газеты, которые ждали меня на чердаке полвека, я страшно любила. В основном попадались старые издания «Кузбасса», напечатанные незнакомым шрифтом, но со своим особенным, всегда узнаваемым, стилем повествования. Изредка встречалась местная газета «За коммунизм». В одном из таких изданий на чёрно-белой фотографии пристальный взгляд выхватил знакомый образ.

– Ой, это же дедушка, молодой ещё, – я еле шевельнула губами, будто разговаривая сама с собой.

136

В статье говорилось о том, что «южане» выдали на-гора очередной угольный рекорд. Это была бригада деда на шахте «Южная», и он, горный мастер, стоял рядом со своими мужиками-работягами – грязный, счастливый, уставший и такой родной. Я поцеловала газету, сдунула с неё серую пылюку и копоть от трубы, заботливо протёрла фотографию своей грязной рукой и отправилась с добычей на улицу.

Под вечер я уже партизанила у калитки, и, касаясь носом неструганных дощечек, выглядывала деда. Соседский забор напротив был вдвое выше нашего и всегда загораживал обзор, поэтому родню я научилась узнавать по макушкам. У деда макушка была радаром – с торчащими белыми антеннами, у папы – львиная грива в кепке, у мамы – макушка в шляпке, с выбившимися чёрными локонами, у бабушки – в газовом платке, который съезжал до затылка. Чужие головы, идущие вниз по улице вдоль забора, меня не интересовали. Я ждала свою ненаглядную поседевшую макушку с загорелым лбом и шрамом возле самого виска от отколовшейся породы. Вот он, появился над штакетником – скоро дед весь целиком вынырнет из-за поворота.

Невысокого роста был дед Николай, но мощный, как айсберг, выносливый, сильный и, как говорила бабуля, шибко работающий. После ночной смены он топил сон в крутом, настоящем на притолоке, чифире и запросто ехал на покос вместе с отцом на нашем стареньком «Урале», чтобы до вечера, не поднимая солёного лба выше плеч, сгребать в огромные стога сено, прогретое июлем до самых травяных прожилок. Он мог целый день носить коромысло с двумя ведрами колодезной воды для бани, придерживая стянутую ольховую дугу одной рукой, а второй подталкивать вперёд меня. По дороге он весело травил мне, бегущей рядышком, байки и рассказывал истории про шахту. Батя тоже был шахтёром, но от него подобных историй не дождёшься. Он не любил рассказывать про работу нам, домочадцам, а когда мне нужно было писать сочинение на темы «Где работают родители», «Твоя любимая профессия», он отправлял на историями к деду – и правильно делал. Сочинения всегда выходили пятёрочными.

Дедуля открыл калитку вместе со мной, стоящей на перекладине, и я изо всех сил сжала его загорелую шею в объятиях и смачно поцеловала в щёку.

– Ты опять с накрашенными глазами пришёл, красавчик ты мой, – я оттянула уголки век в разные стороны, и дедуля стал вылитым китайцем.

– Да эти глаза как не мой, они всё равно грязные от угольной пыли. Въедается в кожу – не ототрёшь. Их только в бане, внуча, можно отквасить. Завтра затопим. Прибежишь?

Я кивнула.

Дед чмокнул меня в нос, схватил на руки и понёс в дом.

Бабушка уже напекла свои фирменные калачики, мы это поняли ещё на улице, принюхиваясь у калитки.

А дед умылся, сел за стол и выдал свою любимую послерабочую фразу:

– Борща охота. Чтоб наваристый, с горчицей.

– Горчица есть, борща нет, – встревожилась баба Шура. – Может, мяса поешь? Горячее на печке, посмотри.

– Нееет, пойду готовить, – сказал дедушка и полез в холодильник за рёбрышками.

Его борщ был коронным блюдом. Готовить супец, так как это делал дед, ни у кого не получалось. Я наблюдала за процессом с самого детства, была подсобным рабочим: «потри морковку», «очисти луковку». Кулинарный букет ингре-

диентов помню до сих пор, а вот сварить мужу борщ по-дедовски не получается. Таким наваристым, настоящим, любимым супом меня уже никто не накормит.

Через часок мы уже сидели за столом, вокруг пахло невообразимой вкуснятиной. Перед дедом стояли две тарелки: от одной он смачно отхлёбывал жижу, заедая чёрным хлебом с горчицей, а другую, помешивая мельхиоровой ложкой, остужал для меня.

– А у меня для вас сюрприз есть, – выдала я, не дождавшись завершения трапезы. – Смотрите, что я нашла на чердаке! Парень на фото никого не напоминает?

– Ух ты! – удивился дед Коля. – Это Мишка Швыдкий, это Батон, Сашка, Василич – моя старая бригада. И я в каске, радостный чего-то, видеть, завтра выходной после первой смены!

– Дай-ка, Наталья, я уберу газетку, – засуетилась бабушка, забыв про ужин, – подреставрирую вечером, у нас такого экземпляра не было, я точно помню.

Она всегда собирала наши заслуги и складывала в свою сокровенную папочку, которую хранила от посторонних глаз на самой верхней полке антресоли, а потом долгими зимними семейными вечерами развлекала нас воспоминаниями.

– У меня тоже для тебя сюрприз есть, – заинтриговал дед Коля.

– Сюрприз? Какой ещё сюрприз? – я так громко удивилась, что захлебнулась борщом и прокашляться не могла минут пять.

– Дай ты ребёнку поесть спокойно, со своими сюрпризами всё не наиграешься, – проворчала бабушка и посмотрела на деда как на школьника – тот даже голову опустил, как будто дневник под столом прячет.

– Сейчас-сейчас, прожуй сначала, – буркнул дедуля. – Я буду рассказывать, а ты ешь и слушай. Месяц назад прибилась к нашей бригаде полуслепая дворняга. Опустилась в клетки с работягами в забой, а обратно подниматься и не думает. Смешная. Ходит как хрюша. Опустит свою вислоухую голову вниз и ощупывает всё кругом, будто геодезист, местность изучает. На обеденном перекуре лезет под сапоги к ребятам и укладывается спать. А храпит громко, как шахтёр после смены. Всех крыс своими басами разогнала. Ребята называли её Динкой. Кормят, по головке гладят. Некоторые мужики ей даже индивидуальную пайку из дома берут. Раскормили так, что брюхо по углю волочится. Ну да, раньше мы так и думали: разъелась наша сторожевая на

рабочих-то пайках, а сегодня спустились в шахту, а там... Батюшки, шесть щенков! Ше-еесть, – протяжно выдохнул дед.

– Вот это подарочек! – изумилась я, отодвигая тарелку. – А какие они? Опиши.

– Грязные как черти. Какой масти – не поймёшь. Слепые ещё. Через месяц, как окрепнут, разберём их с мужиками по домам.

– И ты возьмёшь? – еле дыша от радости, спросила я деда.

– Ага! Для тебя! – без малейшей доли сомнения выдал он.

Дед умел держать слово. Ни в шахте, ни в семье с ним никто никогда не спорил. Сказал – как отбойным молотком рубанул – и всё тут, без пререканий.

Через месяц он принёс домой толстого щенка, завёрнутого в шахтовые портянки. От него пахло подпольем, жареным салом и почему-то железной дорогой.

– Ну что, черноглазая? Как назовёшь? – спросил дед, ехидно подмигивая и улыбаясь уголком рта.

– Ну, может быть, как-нибудь красиво – Рекс? Мухтар? – засомневалась я. – Давай вместе придумаем.

– Давай сначала отмоем его. Чёрный как уголь.

– Точно, деда, – обрадовалась я, будто совершила открытие. – А давай мы этого пёсика Уголёк назовём.

В знак одобрения дедушка щёлкнул пальцами.

– Чтобы собака хорошо запомнила кличку и быстро на неё реагировала, её нужно назвать покороче, – вставила свои три копейки баба Шура, которая зашла в дом после огорода, чтобы одеть платок полегче. – У-го-лёк – не докричишься. Кинологи говорят, что кличка должна состоять из одного или максимум двух слогов. Наука. С ней не поспоришь.

– Бабуля дело говорит, – призадумался дед Коля. – Пошли мыть голопузого.

Мы набрали тёплой воды из бочки, поместили щенка в корыто и устроили нашему черноносику баню прямо в огороде. Дед густо намыливал собачонку хозяйственным мылом, а я поливала водой из ковша. Воду сменили раз пять, и вдруг синхронно разинули от неожиданности рты – щенок-то наш белым оказался. На левом бочке еле угадывались чёрные неровные пятнышки, как у телёнка. Хозяйственное мыло их не брало. Нос тоже не отмывался.

– С лёгким паром, Уголёк! – дед прижал к животу дрожащего щенка, и мы долго просидели

втроём на крыльце, пока солнце не перевалило за другую сторону бревенчатого дома, растворяя в золотом свечении невесомую пыль от дорожки и прозрачных мошек, искавших ночлег в лозе повядшей смородины.

III

Через год Уголёк стал огромным псом, похожим на немецкую овчарку. Послушный был и разумный, прямо не нарадуешься.

Скоро дед ушёл на пенсию, завёл ещё одну корову, телят и с головой погрузился в животноводство. Разводил кроликов, шил тёплые шапки для сыновей и внуков, снохам помогал делать домашнюю колбасу, сам доил коров, а летом раз в неделю выводил на вольные хлеба, на выпас, огромное стадо, куда стекалось рогатое поголовье с ближайшей округи. В качестве рулевого брал с собой Уголька. Умный пёс поворачивал настырных коров в нужную сторону, стоило только командовать: «Влево!» или «Уголёк, веди на меня».

Однажды я на целый день отпросилась у родителей, и мы с дедом повели стадо через лесок к большому полю, поросшему белым и красным клевером. Неповоротливые бурёнки, наевшись свежей зелени, грузно валились в тень под деревья, гоняли языком жвачку, вздыхали и отмахивались от надоедливых мух кнутами чёрных хвостов, больно шлепая себя по бокам. Мы лежали под тополем. Солнце в листьях высоченного дерева плавилось, как разомлевшая, полная мёда сота, и стекало вниз, остужаясь под свежестью сомкнувшейся кроны.

– Странное дело, – сквозь зевоту прошамкал дед и повернул лепку на бок, подставляя солнцу прищуренный профиль. – Не встречал я тополей в лесу. Да ещё таких толстенных.

– Да ещё и таких певучих, – добавила я.

– Почему? – удивился дед

– А смотри, сколько на нём птиц! Ты что, не слышишь? Они своим чириканьем даже симфонию кузнечиков забивают.

– А почему они именно здесь поют? – с хитринкой в голосе допытывался дед. – Давай буди Шерлока Холмса. Думай!

– Зрителя ищут, вот и поют нам с тобой песни. Кому ещё петь-то, коровам?

– Эх ты, фантазёрка. Всё элементарно, Ватсон. Посмотри, где Уголёк лежит. Далековато, правда? Они его не боятся – это раз. Сколько крошек мы с тобой после обеда оставили – это два. Сейчас отойдём шагов на пять, присядем за пихтушку, и вся эта стайка на землю слетится. Спорим?

Мы отошли, неслышно сбивая сапогами первые созревшие семена рыжей, как конская гриба, травы, и спрятались.

Черноголовые синицы все как одна упали на землю и быстрым китайским шагом засемили по траве в поисках крошек.

– Дедукция в жизни пригодится! – подытожил дед. – Я однажды так бригаду спас, вывел из шахты, «потому что показалось». Так и написал потом в объяснительной: «...показалось, что метан пошёл». И выговор получил. А вторая смена попалась. Расколосся пласт. Рвануло несильно, но одному проходчику не повезло – ногу зажало. Пока нашли, пока откопали. В общем, на группе он сейчас, пьёт и не закусывает.

– А как ты узнал про этот метан? Он что, вонючий? А почему остальные не поняли? – я забрасывала деда вопросами, сверлила широко распахнутыми глазами и всё время теребила плечо.

Он тянул время. Сорвал травинку, долго мял её в руках, потом попробовал на зуб и, помедлив, ответил:

– На покос пора, трава созрела, слышишь, как шушукает в руках. Пока солнце палит, надо косить. Завтра скажи отцу, чтобы долго не залёживался. Вместо будильника пусть петуха заведёт.

Дед улыбнулся, стукнул меня по носу травинкой и пошёл поднимать стадо.

– Деда, а давай это будет наше секретное место, – не успокаивалась я, – давай на тополе вырежем наши имена, у меня складник отцовский есть.

– Ты что такое говоришь, – как вкопанный встал дед, касаясь пальцами морщинистой, источенной голодным короедом тополиной кожи. – Ему же больно! Давай лучше скворечник сколотим и повесим повыше. Пусть слетаются синицы, обживаются, выводят потомство, даже когда нас здесь не будет.

IV

Когда я была маленькая, знала, не по-детски была уверена: если человек умирает – к далёкому солнцу прибавляется ещё один лучик, и вокруг становится теплее. Дед умер, когда мне было чуть больше двадцати. Крещенские морозы в ту пору скалились на любого, кто хотел выйти из тёплого жилья, и люди до красна топили печки, занимали себя заботами, латали валенки, смотрели телевизор и выбирались из протопленной хаты только при крайней необходимости – на работу. Трубы, похожие на горелые подсвечники, выкуривали иссиня-чёрный дым из домов, вы-

дыхая его до самого неба, безоблачного, прозрачного, пристёгнутого к эфиру звёздами-пуговками. В такую злую ночь и умер дед. Умер прямо на улице возле крылечка. Мы с отцом нашли его утром, холодного, заиндевелого, без шапки, совсем не похожего на себя. Его одеревенелая пятерня намертво зажала длинную ручку от входной двери, которую вырвало вместе с болтами. Шипевшая пена на губах за ночь превратилась в лёд, а в закрытых глазах, наверное, отражались вчерашние звёзды.

Врачи сказали, что это сердце. Просто упал – и всё. Так бывает. Но я знала, что не бывает, что так просто не может быть. Вчера я забежала сюда в гости, мы долго разговаривали, вспоминали прошлое, у деда всегда в закромах, помимо сгущёнки к чаю, была припрятана парочка интересных историй. На первой ступеньке крыльца я вижу след от своих ботинок. Так не бывает.

В закрытом вольере возле стайки протяжно, обессилев, выл Уголёк. Папа подошёл к нему, открыл решётку и поговорил с псом по душам, как с человеком. Тот затих, растелился на спрессованном снегу и больше не вставал. Через три дня потеплело, и на поминки повалил снегопад, а с ним и народ. Мы думали, что дедов дом раскатится по брёвнышку – столько людей там перемывало: знакомые и незнакомые, родственники и соседи, проходчики, спасатели, горнорабочие с добычного участка и даже один пьяный мужик зашёл рассказать, как дед каждый год точил ему литовку для покоса. Казалось, Кириллыча знали все, кто когда-нибудь жил на окраине нашего маленького города, который назло зиме шахтёры каждый год протапливали углём.

После поминок Уголёк скорее походил на плоскую шкуру, прижавшуюся к полу, чем на большую собаку. Он почти не шевелился, только два чёрных глаза следили за снежинками, которые, не долетая до носа, таяли от горячего дыхания. Отец на руках унёс Уголька к нам домой. Мы постелили ему возле печки и долго выпаивали молоком и всякими лекарствами, которые приносила мама.

Пёс прожил у нас ещё два года. А на третью зиму потерялся. Мы с отцом облазили все соседские сараи, протоптали тропинки вдоль непроходимых сугробов, искали на обочинах у дороги – всё зря. Ушёл – и был таков. Уголёк был лучшим подарком в моей жизни. Нечаянным подарком, принесённым из шахты, из недр самой земли, человеком, которого я люблю до сих пор и до сих пор вспоминаю.

139